**«О, я хочу безумно жить»**

**Творчество А.Блока**

У каждого, кто любит поэзию – своя встреча с Блоком. Как рассказать о Блоке? Опять – дата рождения, портреты родителей, гимназический аттестат? Или первое появление в печати, обложка старого журнала? Нет Блок не терпит педантства.

Когда под забором в крапиве  
Несчастные кости сгниют,  
Какой-нибудь поздний историк  
Напишет внушительный труд...  
  
Вот только замучит, проклятый,  
Ни в чем не повинных ребят  
Годами рожденья и смерти  
И ворохом скверных цитат...  
  
Печальная доля - так сложно,  
Так трудно и празднично жить,  
И стать достояньем доцента,  
И критиков новых плодить...  
  
Зарыться бы в свежем бурьяне,  
Забыться бы сном навсегда!  
Молчите, проклятые книги!  
Я вас не писал никогда!

«Человек с ободранной кожей» - скажет о нем Георгий Иванов, поэт Гумилев, отнюдь не друг, признает: «Он удивительный…Если бы прилетели марсиане, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек». А Цветаева, назвавшая его «сплошной совестью», будет так боготворить его, что, посвятит ему цикл стихов, увы, не решится сама передать их. Передаст через дочь. Все стихи передаст, кроме того, где уже предсказала его смерть. Из суеверия, из убеждения, что все сказанное в рифму – сбывается.

Думали — человек!

Иумеретьзаставили.

Умер теперь, навек.

— Плачьте о мертвом ангеле!

Он на закате дня

Пел красоту вечернюю.

Три восковых огня

Треплются, лицемерные.

Шли от него лучи —

Жаркие струны по снегу!

Три восковых свечи —

Солнцу-то! Светоносному!

О поглядите, как

Веки ввалились темные!

О поглядите, как

Крылья его поломаны!

Черный читает чтец,

Крестятся руки праздные...

— Мертвый лежит певец

И воскресенье празднует.

Эти стихи написаны за пять лет до смерти Блока. Невероятно! Да, поэты – пророки! Ведь так все и случится. Смерть Блока станет и самоубийством, и убийством его. Умереть именно «заставят» - гениальное слово гения о гении.

Когда – то в молодости он написал в стихах: «О, я хочу безумно жить!» А за полгода до смерти в одном разговоре прервав собеседника на полуслове, вдруг спросил: «Вы хотели бы умереть?» И перебивая ответ, порывисто, горячо, страстно сам же выдохнул: «А я очень хочу! Очень!»

Вот между этими «хочу жить» и «очень хочу умереть» и уместилась вся сорокалетняя жизнь поэта.

Все было предопределено в его жизни. И все загадочно. «Меня вело», - скажет Блок. «Я никогда не ошибался в пути. Понимаете? Падал, бился, разбивался, подымался и все шел – меня вело». Да его «вело», если говорить про судьбу, про волю небес. И юность и молодость его подтвердят – все у него сбывалось. Он стал поэтом, как хотел, женился на «Первой тайне и Последней надежде».

Для Блока у времени был цвет. «Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской», - писал в своей автобиографии поэт. Годы детства и юности – сине – розовые.

Мир, в который он пришел, был женский мир. И таким остался до последнего дня. Женственность — и среда, и почва, и тема, и музыка.

Ректорский дом на Университетской набережной, комната в верхнем этаже. Воскресное утро 16 ноября 1880 года. Маленькая двадцатилетняя мама, Ася Бекетова, дарит ему жизнь. Первой его принимает на руки прабабушка — Александра Николаевна Карелина. А еще его появления ждут бабушка Елизавета Григорьевна и три тети — Екатерина, Софья и Мария.

Мужской мир — внизу, в первом этаже. У деда, Андрея Николаевича Бекетова, с субботнего вечера длится традиционный прием — с чаем, бутербродами и серьезными разговорами.

А отец, Александр Львович Блок, приват-доцент государственного права, сейчас в Варшаве. Мать и отец после его рождения уже не сойдутся.

Биба — так зовут его дома. Комната, где он родился, стала его детской. Окна глядят в тихий университетский двор. А из бабушкиной спальни — вид на Неву. Поставят Бибу на подоконник, и он глядит вдаль. Носится по комнатам, снует вверх-вниз по лестнице, соединяющей два этажа.

Он выходил на прогулку в университетский двор в синей шубке и капоре, за руку с няней. Им встречалась нередко розовая девочка в золотистом капоре, гулявшая со своей нянькой. Это была Люба, дочь знаменитого химика Д.И. Менделеева. Внуку Бекетова было три года, а дочке Менделеева – два, когда они познакомились. А спустя двадцать лет они стали встречаться под колоннами Казанского собора. В гулком пространстве собора вспоминаются эти строки:

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая - Ты.

Почти двести стихотворений, посвященных Любови Дмитриевне Менделеевой, составили потом цикл стихов о Прекрасной Даме. Стихов певучих, томительно нежных, порою туманных, с мистической дымкой, но неизменно искренних.

От золотой лазури «Стихов о Прекрасной Даме» Блок переходит в лиловые миры «Снежной маски» и «Земли в снегу». «Едва моя невеста стала моей женой, - писал Блок в дневнике, - лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, как давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели…За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня… Таковы были междуреволюционные годы…»Верный своему восприятию цвета времени, Блок говорит здесь о лиловом и снежно – белом. Так грезятся ему вихри революции.

Тут самое время всерьез поговорить о революции как таковой. И поставить ее на место. На то реальное место, которое она занимает в судьбе Блока.

Латинское слово «revolutio», означающее «переворот», пришло в русский язык из польского еще в начале XVIII века. Долгое время оно звучало как довольно книжное и отвлеченное, связанное с западноевропейской историей. Русские писатели девятнадцатого века к нему прибегали нечасто. В общем, к началу ХХ века «революция» — слово довольно свежее, не захватанное, и притом фонетически звучное, что для стихотворцев имеет немалое значение. Это не односложно-глуховатый «бунт», с прибавлением двух устойчивых эпитетов: «бессмысленный и беспощадный».

«Революция» — слово двусмысленное. К чему она может привести — в начале ХХ века Россия еще не знает. Опыта недостаточно. Это потом, намного позже, революция станет для большинства наших соотечественников синонимом абсолютного зла.Слова «революция», «революционный» стали непременным атрибутом официальной советской словесности. Чтобы включить Блока в советский литературный иконостас, его старательно противопоставляли «декадентам», с мясом вырывали из контекста русского символизма. Ставка была сделана на поэму «Двенадцать», причем в плоско-однозначной интерпретации: автор «за» революцию, и никаких «contra».А все предшествующее творчество поэта начало трактоваться как путь к революции, пророческие намеки на ее приближение отыскивались где только можно.

В 1905 году Блоком написано более пятидесяти стихотворений. Сколько из них связано с революционной темой и вообще с политическими событиями? «Шли на приступ. Прямо в грудь…» «Война». «Митинг». «Вися над городом всемирным». «Еще прекрасно серое небо». «Сытые». То есть общим числом — шесть. Нормальная пропорция, дающая основание для некоторых выводов.

Революция не была главным событием в жизни человека, которого звали Александр Александрович Блок.Революция не является главной темой поэта Блока.

Пока же — вернемся к самому началу тысяча девятьсот пятого года, когда иностранное слово «революция» впервые обрело реальное значение на российской почве.

Дата исторического отсчета — утро 9 января. Покуривая папиросу, Блок расхаживает по комнате в своей, впоследствии легендарной, черной шерстяной рубашке, не облегающей, а свободной. То и дело смотрит в окно. Вопрос один: будут стрелять или нет? Неужели правительство превратит манифестацию в восстание?Весть о расстреле застает всех за чаем. Непосредственный отклик Блока-поэта на «Кровавое воскресенье» — стихи, датированные январем:

Шли на приступ. Прямо в грудь

Штык наточенный направлен

Кто-то крикнул: "Будь прославлен!"

Кто-то шепчет: "Не забудь!"

Рядом пал, всплеснув руками,

И над ним сомкнулась рать.

Кто-то бьется под ногами,

Кто - не время вспоминать...

Только в памяти веселой

Где-то вспыхнула свеча.

И прошли, стопой тяжелой

Тело теплое топча

Ведь никто не встретит старость -

Смерть летит из уст в уста...

Высоко пылает ярость,

Даль кровавая пуста...

Что же! громче будет скрежет,

Слаще боль и ярче смерть!

И потом — земля разнежит

Перепуганную твердь.

У Блока с каждым из близких людей отдельный диалог, особый эмоциональный контекст на двоих. Политические страсти – это с давних времен общее увлечение сына и матери.

«Все эти дни мы с Сашей предаемся гражданским чувствам, радуемся московскому беспокойству и за это встречаем глубокое порицание домочадцев», — пишет Александра Андреевна Андрею Белому 27 сентября 1905 года.

Стачки и митинги в Москве и Петербурге. Забастовка всех железных дорог. Во время социальных потрясений у людей возникает ощущение включенности в общую жизнь, причастности к большой истории. А затем — горькое прозрение, осознание собственного фатального одиночества перед лицом времени и смерти. У Блока это эмоциональное переключение происходит быстрее, чем у других.

Все это разогревает душу, повышает внутреннюю температуру. Гуляя с Евгением Ивановым по Соляному переулку, Блок вновь жалуется, как неуютно ему постоянно пребывать на границе добра и зла: «…Меня все принимают за светлого, а я ведь темный, понимаешь?» И спрашивает друга на прощанье:

— Женя, я есть или нет?

Восемнадцатым числом датированы два блоковских злободневные по тематике и вызывающе «вечные» по способу ее осмысления: «Вися над городом всемирным…» и «Еще прекрасно серое небо…».

Восемнадцатого октября 1905 года, помимо написания двух стихотворений, Блок успевает еще и присоединиться к манифестации, пройти по улицам с красным флагом в руках. Почему, зачем?

Жест артиста. Брюсов, прослышав об этом событии, отозвался неодобрительно: мол, шалость. Мережковский с Гиппиус прошлись иронически: мол, поэт туда попал по рассеянности. А Любови Дмитриевне понравилось — потому что сама актриса.

Игра? Да, но не в смысле притворства. Это поступок, акция. Когда в душе художника происходит сдвиг. Не столько в идейном, сколько в творческом отношении. Необходимый шаг на пути к новым стихам, заправка эмоциональным топливом.

На короткое время Блок вживается в роль «социаль-демократа» — так, с театральной иронией он называет себя в письме Александру Гиппиусу 9 ноября. А на следующий день пишет стихотворный памфлет «Сытые», где одряхлевший чиновно-буржуазный мир отвергается с позиции сугубо эстетической:

Пусть доживут свой век привычно —

Нам жаль их сытость разрушать.

Лишь чистым детям неприлично

Их старой скуке подражать.

Блоковский роман с революцией на этом и завершается. 30 декабря 1905 года он в письме отцу довольно хладнокровно подведет итоги этой полосы в своей жизни: «Отношение мое к “освободительному движению” выражалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу, отбросив то, чего душа не принимает. Никогда я не стану ни революционером, ни “строителем жизни”, и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний».

Конец года Блок проводит «в вихре светских удовольствий, что пока приятно, а иногда очень весело», как он пишет матери. Новый, 1917 год празднует в княжеском доме вместе с сослуживцами до восьми часов утра.

Блока назначают «заведующим отделом». Однажды в январе в управление дружины приезжает офицер с ревизией. Им оказывается не кто иной, как Алексей Толстой, немало изумленный тем, что конторские книги ему предъявляет легендарный поэт. На вопрос Толстого об иных занятиях он коротко отвечает: «Нет, ничего не делаю».

В 1917 году Блоком не написано ни одного стихотворения. Несколько коротких набросков в дневнике — не в счет. Творческий кризис, если называть вещи своими именами. А при отсутствии событий-стихотворений – и житейскими событиями удивительно бедным оказывается для Блока сей исторически судьбоносный год.

Советские литературоведы старательно выуживали из блоковских дневниковых записей сочувственные высказывания о большевиках и Ленине, фразы в поддержку революции. Таковые имеются, но не меньше — суждений противоположного плана.

В Москве Блока посещают глубокие сомнения: «Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?» А перед отъездом в Петроград он признается: «В “начало жизни” я почти не верю. Поздно».

Опасность потерять себя налицо. Его уже раздражает сам вопрос о писании, и в записной книжке появляется такой драматизированный пассаж:

«“Пишете вы или нет? — Он пишет. — Он не пишет. Он не может писать”.

Отстаньте. Что вы называете “писать”? Мазать чернилами по бумаге? — Это умеют делать все заведующие отделами 13-й дружины. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю».

Муза молчала. Но, может быть, накапливалась энергия муки, необходимая для следующего шага?

Вот блоковская «фраза года»:«Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться.Ал. Блок. 22.IV. 1917».

Слова простые и навеки верные. И речь здесь отнюдь не о скорой революционной переделке жизни.

**Когда Блок начал писать «Двенадцать»?**

Первое упоминание — в записной книжке 8 января 1918 года: «Весь день — *“Двенадцать”*». Это не означает, что работа не началась раньше, поскольку предыдущая записная книжка не сохранилась. В любом случае «Двенадцать» начинаются тогда, когда у автора заканчивается затяжная апатия.

Двадцать восьмое января. В записной книжке — трижды подчеркнутое «Двенадцать».

«Сегодня я гений»… Не «стал» он гением в январе 1918 года, а завершился в этом качестве, окончательно оформился.

Собственно, число «12» — знак полноты, законченности, универсальности. Им замыкается круг вечности. Это точка которую необходимо поставить в конце пути, чтобы сомкнуть конец с началом.

«Двенадцать» — произведение и символистское, и авангардное. В высшей степени многозначное и притом предельно динамичное. В этом смысле оно уникально и неповторимо. И уникальность эта — прежде всего эстетическая. Перед нами эталон художественного совершенства, наглядная модель литературы как таковой.

Динамика «Двенадцати» властно задана уже первыми двумя стихами с их резким графическим контрастом:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер,

На ногах не стоит человек.

Какая-либо монотонность исключена. И далее — непрерывно варьируются ритмы, чередуются жанры (частушка, городской романс, марш), речевые манеры. Никаких простоев, непрерывное движение. И нацеленность на финал. В поэме двенадцать главок. Конец каждой — промежуточный финиш – и всегда на подъеме интонации. Заметим: десять главок – с первой по третью и с пятой по одиннадцатую венчаются восклицательным знаком. Только четвертая завершается многоточием: «Ах ты, Катя, моя Катя, / Толстоморденькая…».

И начинается каждая главка с энергичного приступа, со смены плана. Поэма вообще кинематографична, причем некоторые главы содержат по несколько «кадров». А вот кадр финальный:

…Так идут державным шагом —

Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

Этот аккорд из девяти строк подготовлен всем движением слова и стиха в поэме.Перед артистом, читающим поэму вслух, стоит труднейшая техническая задача: надо вытянуть голосом восемь строк подряд — так, чтобы слышалась рифма «пес» — «роз» — «Христос». Только тогда последнее слово поэта прозвучит в полную силу.

Пытаться сегодня истолковывать «Двенадцать» — равно что еще раз объяснять улыбку Джоконды или суть «Черного квадрата» Малевича. Столько уже существует интерпретаций.

Дочитав «Двенадцать» до конца, всякий думающий человек пытается объяснить себе, что значит ее финал. Или хотя бы задается таким вопросом. Как, например, В. И. Ленин, который, по свидетельству В. В. Шульгина, вопрошал: «“В белом венчике из роз впереди Исус Христос”. Вы понимаете? Объясните. — И, не дав мне сказать, понимаю ли я, кончил: — Не понимаю».

Объяснений на этот счет предложено с тех пор множество. Одни говорили: Христос во главе красногвардейского дозора — кощунство. Другие: тот, кого Блок принял за Христа, — на самом деле Антихрист. Третьи: да это сам поэт принял на себя грехи революции и первым идет на Голгофу (к такому пониманию со временем пришел, например, Михаил Пришвин).

А что если так повернуть: Христос не заодно с красногвардейцами? Он идет далеко впереди, а они его вот-вот начнут преследовать и распинать. И такое парадоксальное истолкование уже имеется. Первым его высказал Максимилиан Волошин.

Вот и у **Виктора Пелевина** своя версия была в **«Чапаев и Пустота»**: «Я слышал, — сказал я, — что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос». Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули. - «Да, — сказал он, — это вернее. Это точнее. А Христос идет сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри!» «Да, — сказал я, — и в другую сторону»

Ни одно из истолкований не лишено резона и смысла, каждое имеет право на существование.

Писатель-филолог Умберто Эко предложил емкую и точную формулу: художественное произведение есть «генератор интерпретаций». С этой точки зрения «Двенадцать» — мощный генератор, непрерывно работающий уже 100 лет. Диспут о смысле поэмы не завершен по сей день. Творческое осмысление поэмы продолжается. И к нему, надо полагать, еще присоединятся новые и свежие читательские силы. Но вернемся, однако, в 1918 год.

Закончив произведение, Блок отдает себе отчет в том, что последними строками он бросает вызов абсолютному большинству читателей. Для православного сознания поэма кощунственна, атеистическому большевизму никак не может понравиться фигура Христа.

И Блок изначально настроен на защиту — не самого себя, а своего создания.

Он вырабатывает их на страницах дневника, где 3 апреля 1918 года появляется следующая запись: «Я только констатировал факт; если вглядеться в столбы метели *на этом пути*, то увидишь “Иисуса Христа”. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».

«Мне тоже не нравится конец “Двенадцати”. Я хотел бы, чтобы конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем дальше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос».

«Двенадцать» — не просто «музыка революции», а симфония жизни во всей ее полноте. Симфония трагическая. Впереди отнюдь не «светлое будущее», а неминуемая *гибель*, за которой видится *возможность*воскресения.

Самые заветные слова поэмы — это не «революцьонный держите шаг!» и не «мировой пожар раздуем». Это словосочетание «святая злоба» — выразительнейший оксюморон, жуткий и с религиозной, и с нравственной, и с социальной точек зрения. «Святая злоба» руководила и теми, кто шел на баррикады в 1905 году, и теми, кто бесчинствовал в октябре 1917-го. Она вела народ к самоуничтожению в Гражданской войне. Со «святой злобой» невозможно спорить, она в любой момент может вспыхнуть в агрессивно-разрушительных формах.

Первого апреля 1920 года Блок в «Записке о “Двенадцати”» достаточно внятно выскажется: «…В январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в “Двенадцати” политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение “Двенадцати” к политике. **Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства;** в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал “Двенадцать”; оттого в поэме осталась капля политики».

Многие отшатнулись от Блока после «Двенадцати». Помимо Мережковского с Гиппиус, помимо уже упомянутых Ф. Сологуба, В. Пяста, А. Ахматовой, это еще и Вяч. Иванов, Г. Чулков. М. Пришвин… Поэт болезненно переживает бойкот и наступившую за ним духовную изоляцию. Однако о сделанном, о созданном не жалеет. Не в силу некоей политической стойкости, а в силу верности художническому инстинкту. Поэма раздражила современников и бывших единомышленников Блока не только шокирующей идеологической оболочкой, но и слепящей эстетической новизной.

Оппоненты Блока заблуждались эстетически, но в социально-политической и культурно-гуманистической оценке Октябрьской революции и советского строя они были правы. И Блок на исходе жизни по сути дела придет к тем же представлениям.

«Сегодня я гений» — в известной мере последние слова Блока. Жажда гибели (не смерти, а именно гибели), владевшая им на протяжении всей творческой жизни, нашла утоление.

Блоку тридцать семь лет. Это для русской поэзии нумерологическая примета: в тридцать семь лет ушел из жизни Пушкин. Ушел, полностью решив свою творческую задачу и не оставив, реально говоря, каких-либо незавершенных дел и перспективных начинаний.

Блок тоже сделал все, что мог, к положенному сроку. Но от гибели до воскресения ему отмерено судьбой еще три с половиной года.

Эти три с половиной года — тринадцатый час блоковской судьбы. Не то чтобы «жизнь после смерти», но определенно — жизнь после гибели.

В 1918—1921 годах. Новых стихов он не пишет, а с публичной читкой старых выступает довольно часто. Блок-актер исполняет стихи Блока-поэта. Но «Двенадцать» он не прочтет со сцены ни разу. Всерьез погибнуть вторично невозможно.

А прямо вслед за «Двенадцатью», на разбеге, Блок пишет большое стихотворение «Скифы». Вызов деградирующей европейской цивилизации. Историческая ставка на азиатское начало России:

О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,

И с ненавистью, и с любовью!..

Идея по тем временам довольно свежая и на первый взгляд перспективная. Для Блока близость к «скифской» идеологии — эмоциональная вспышка, яркая, но непродолжительная. Отвлеченная идея долго владеть им не может. Недаром самыми цитируемыми, самыми «крылатыми» станут те строки «Скифов», где говорится как раз о противоположном— о русском европеизме:

Мы любим всё — и жар холодных числ,

И дар божественных видений,

Нам внятно всё — и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений…

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?

«Скифы» опережают «Двенадцать» в печати, они опубликованы в газете «Знамя труда» уже 20 февраля 1918 года. «Двенадцать» выходят в «Знамени труда» 3 марта 1918 года. Потом появится книжечка «Двенадцать. Скифы». Два произведения, написанные почти одновременно, составят некое внешне-искусственное единство. И в советское время эти два «революционных» произведения долго будут восприниматься и трактоваться как тесно связанные. Из первого будет вырываться строка «Революцьонный держите шаг!», из второго — «…опомнись, старый мир!»

Страшная зима 1918 года. Петербург, занесенный сугробами, без трамваев, без фонарей. Люди в шубах, в ледяных квартирах. Вместо хлеба — кусочки черной глины, гнилая вобла и печенья из картофельной шелухи. Блок голодал, мучился тем, что не может помочь родным, что у него почти нет заработка, что он отвык от литературной работы. Голодный и темный Петербург давит, не отпускает… С отчаянием он восклицает: «К черту бы все, к черту! Забыть, вспомнить другое».

Восьмого марта Блок стал членом коллегии издательства «Всемирная литература» и главным редактором отдела немецкой литературы. Двадцать четвертого апреля Блок назначен председателем Управления Большого драматического театра.

Без таких должностных зацепок в это время просто не выжить. Все-таки защита от голода, все-таки какие-то пайки. Тем более что, как заметил Анненков, «в области “пайколовства” Блок оказался большим неудачником». Он может только добросовестно работать и получать за свои труды по минимуму.

Что говорит Блок о революции в это время близким людям? Юрий Анненков в книге «Дневник моих встреч» имел возможность дословно и без оговорок привести те крики, которые вырывались у Блока в последний год жизни:

«— Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу.

– Опротивела марксистская вонь».

Первый иллюстратор «Двенадцати» утверждает, что «для Блока революция умерла, когда ее стихийность, ее музыка стали уступать место "административным мероприятиям власти"». И 1919 год поэт упоминает как рубежный.

Блок продолжает рутинную литературную и театральную работу. Плохо чувствует себя не только морально. «… с конца января я не могу выправится физически уже, чего со мной не бывало прежде»,

«Сорок лет мне, — хладнокровно фиксирует он в записной книжке в конце ноября 1920 года. — Ничего не сделал».

Странно: сорокалетие именитого литератора никак не отмечается. Той осенью Надежда Павлович во время шутливых пикировок с Блоком грозила, что устроит ему юбилейное чествование. Он — уже всерьез — отвечал: «Я не хочу никаких юбилеев. Я и после смерти боюсь памятников, а пока жив — никаких чествований. После юбилея я и сам буду чувствовать себя мощами… — Он помрачнел и тихо добавил: — Сейчас я еще надеюсь, что буду писать, а тогда и надеяться перестану».

Почести не нужны, вот если бы способность писать стихи вернулась…Но стихов больше не будет. А жизнь без творчества невозможна. Наступающая болезнь, бытовые неурядицы, ощущение политической беспросветности — все соединилось разом. Надежды нет.

Он умирал мучительно долго и умер, когда перестал слышать музыку окружающего мира. Связь времен прервалась, мир потерял устойчивость, человек – точку опоры.

Блок умел слушать музыку – музыку места и музыку времени. Музыку воздуха, музыку ветра, снега, музыку революции, наконец. Кто – то сказал о нем: он улавливает звуковые волны, объемлющие вселенную.

Не жди последнего ответа,  
Его в сей жизни не найти.  
Но ясно чует слух поэта  
Далекий гул в своем пути.  
Он приклонил с вниманьем ухо,  
Он жадно внемлет, чутко ждет,  
И донеслось уже до слуха:  
Цветет, блаженствует, растет...  
Всё ближе — чаянье сильнее,  
Но, ах! — волненья не снести...  
И вещий падает, немея,  
Заслыша близкий гул в пути.

В музыке, гуле времени различал он будущее – тут основа его пророческих предчувствий.

Когда перед своей последней болезнью он, еще внешне здоровый, ощутил, что жизнь собирается уйти от него, он понял это прежде всего по отсутствию музыки. Чуковскому он сказал: «все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?». И молодому своему другу С. Алянскому повторил: «Слышать совсем перестал. Будто громадная стена выросла.А как прежде все звучало вокруг!»

Его все больше и больше угнетало чувство непомерной усталости.   
Все чаще и чаще болело сердце, еле-еле ходили ноги, но он продолжал бороться с установившимся после большевистской революции ужасным бытом и ни на что не жаловался. Как и подавляющее большинство петербуржцев, он продолжал добывать обледенелые дрова, мерзлую капусту и ржавую селедку. Но силы его иссякали. Почти прекратились стихи. В последнее время они приходили так редко, что их можно было пересчитать по пальцам.

Вместе с поэзией уходила жизнь.  
Его пригласили выступить в Доме печати. Он согласился. После чтения на сцену взобрался некогда обиженный им Александр Струве. Мелкий стихотворец стал доказывать, что как поэт он давно уже умер. У него это не вызвало никаких возражений. Наклонившись к сидевшему рядом Чуковскому, подтвердил: «Он говорит правду: я умер».

По инерции он еще продолжал таскаться с Офицерской, где жил, на Моховую, где служил. В издательстве редактировал переводы зарубежных поэтов. По привычке писал рецензии даже на самых незначительных собратьев по цеху. И медленно и неуклонно продолжал двигаться навстречу своей гибели.

В феврале 21-го года по случаю скорбной годовщины со дня смерти Пушкина он выступил в Доме литераторов с речью «О назначении поэта».Этот вечер будет проходить трижды, слишком много людей не могли попасть в зал Дома писателей. Услышав свое имя, [Блок](http://philosofiya.ru/blok.html) поднимается, худой, с красноватым лицом, с седеющими волосами, с тяжелым и погасшим взглядом, все в том же белом свитере, в черном пиджаке, в валенках. Он говорит, не вынимая рук из карманов, что Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса – его убило отсутствие воздуха. Да, на свете счастья нет, а есть покой и воля, творческая тайная свобода поэта, но когда ее отнимают, поэт умирает – жизнь теряет свой смысл. Многим тогда показалось, что он говорит и о себе. И еще он сказал, что поэт – сын гармонии и называется поэтом не потому что пишет стихами, а потому, что приводит в гармонию слова и звуки.

Через месяц в Большом Драматическом театре объявлен вечер его поэзии. Магия его стихов покоряет публику; его слушают с замиранием сердца, ему рукоплещут, он окружен всеобщей любовью и обожанием. Мало кто из поэтов знал такой успех.

Бесстрастное лицо, глаза устремлены выше последних лож, приглушенный голос. Его просят прочесть стихи о России. «Это все — о России», — отвечает он.Лицо его хранит отпечаток суровой красоты:

Я и сам ведь не такой — не прежний,

Недоступный, гордый, чистый, злой.

Он читает «Музу», «На поле Куликовом», «Стихи о Прекрасной Даме», но словно забывает о «Двенадцати», и когда просят прочесть поэму, его лицо искажает мучительная судорога.

Его болезнь усиливается, врачи прекрасно понимают природу психического расстройства, с которым отчаянно борется [Блок](http://philosofiya.ru/blok.html). «Я оглох», — твердит он. Он больше не слышит «музыки революции», он уже не слышит никакой музыки. Кто-то другой, возможно, сказал бы: «Я больше не чувствую красоты, у меня иссякла вера».

Вернувшись в Петроград, Блок пишет матери, живущей в Луге, об итогах московской поездки и, в частности, о медицинских проблемах: «У меня была кремлевская докторша, которая сказала, что дело вовсе не в одной подагре, а в том, что у меня как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен; велела мало ходить, больше лежать, дала мышьяк и стрихнин; никаких органических повреждений нет, а все состояние, и слабость, и испарина, и плохой сон, и пр. — от истощения. Я буду стараться здесь вылечиться».

Весной навалилась безумная слабость, бессонница, усилились боли в руках и ногах. Он исхудал, стал раздражительным, внутренний огонь сжигал его. Двадцать шестым мая помечено последнее письмо Блока Чуковскому: «…Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит. Я думал о русской санатории около Москвы, но, кажется, выздороветь можно только в настоящей. То же думает и доктор. Итак, “здравствуем и посейчас” сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Но даже после такой автоэпитафии заканчивается письмо нотой надежды: «Объективно говоря, может быть еще поправимся».

В эти же дни Любовь Дмитриевна встречается с Горьким, после чего тот 29 мая пишет Луначарскому, прося устроить Блоку выезд за границу с целью лечения «в одной из лучших санаторий». Это уже не первое его обращение к наркому: Горький сам начал хлопотать по этому поводу еще 3 мая.

Тут начинается довольно запутанная история о том, как советская власть берется «спасать» автора «Двенадцати».

Двадцать первого июня Любовь Дмитриевна берется за письмо Горькому, где рассказывает ему о состоянии мужа. Письмо завершается словами: «…на Вас вся моя надежда, и я умоляю Вас спасти его, так как отъезд — его единственное спасение».

Через два дня Горький едет в Москву, стучится к Ленину, к члену президиума ВЧК Менжинскому. Однако дело подвигается медленно.

Меж тем силы Блока иссякают. 3 июля он уничтожает пятнадцать своих записных книжек (из шестидесяти одной), потом приходит в себя и педантично фиксирует в дневнике «нумера» уцелевших, бесценных для нас документов. Наглядный пример поединка Жизни и Смерти в измученном человеке.

Вопрос о судьбе Блока Политбюро ЦК рассматривает лишь 12 июля.

Решение Политбюро таково: «Отклонить. Поручить Наркомпроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока». Это не убийство, это, говоря юридическим языком, «неоказание помощи».

Двадцать третьего июля Блоку все-таки разрешают выезд за границу. Но промедление на десять дней в таких случаях опасно, к тому же высочайший вердикт — это еще не всё, предстоит выездная волокита.

Быть стало больше невмоготу. В первую неделю августа он впал в забытье, бредил ночами и страшно кричал. Ему кололи морфий, но ничего не помогало.  
Вернувшись в Петроград, Горький 27 июля телеграфирует: «Срочно. Москва. Кремль. Луначарскому. У Александра Блока острый эндокардит. Положение крайне опасно. Необходим спешный выезд Финляндию. Решительно необходим провожатый. Прошу вас хлопотать о разрешении выезда жене Блока. Анкеты посылаю. Спешите, иначе погибнет. М. Горький».

«Спасайте его, Алексей Максимович, требуйте мой пропуск сейчас же, в течение нескольких дней», — пишет Горькому Любовь Дмитриевна. На оформление паспортов времени уже не хватает, речь о выдаче временных «пропусков», то есть удостоверений — с тем чтобы успеть, опередить смерть…

Вот ответ Горького:«Г-же Л. Блок. Ваши анкеты и карточки были отправлены мною в Москву на другой день по получении их от Вас. Вчера я спрашивал по телефону — разрешен ли Вам выезд? — отвечено: “Еще не рассматривался Особым Отделом, но — без сомнения — будет разрешен на этой неделе”.

В субботу, 6-го, Луначарский извещает Горького о том, что разрешение на выезд получено. Можно ехать — хоть завтра.Но завтра — это уже 7 августа.Смерть пришла вовремя, но заставила помучиться.Это было воскресенье.«Заставили» умереть, как сказала когда –то М.Цветаева.

10-го его похоронили на Смоленском кладбище возле могилы деда под старым кленом. Печальная процессия растянулась почти по всей Офицерской улице, близкие и друзья от дома до кладбища несли открытый гроб, засыпанный цветами, на руках. У всех было ощущение, что вместе с его смертью уходит в прошлое этот город и целый мир. Молодые люди, окружившие гроб, понимали, что для них наступает новая эпоха. Через несколько месяцев уже ничто не напоминало об этой поре русской жизни. Одни уехали, других выслали, третьи были уничтожены или скрывались. Приближалась новая эра.

О, я хочу безумно жить:

Всё сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне,-

Быть может, юноша весёлый

В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство - разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь - дитя добра и света,

Он весь - свободы торжество!